

ОБРАЗ ДЕТСТВА В РАССКАЗАХ С. З. ХУГАЕВА

И. В. Мамиева

В статье впервые в качестве самостоятельной и эстетически значимой проблемы исследуется образ детства в рассказах С. З. Хугаева как одна из ключевых констант художественного мира писателя. Краткий исторический экскурс в художественную практику русской (концепция детства в творчестве Л. Н. Толстого, С. Т. Аксакова, Н. Г. Гарина-Михайловского, Ф. М. Достоевского, в культуре Серебряного века, в эпоху «оттепели») и осетинской литератур позволил обозначить связь актуализации проблемы с этапами доминирования в обществе идей обновления жизни. Литературные параллели с рассказом «Сегодня я окончил свои вечерние занятия...» К. Хетагурова, проведенные на уровне идейно-образной проблематики, речевой, нарративной и концептуальной структур произведений, предоставили возможность очертить контуры преемственности в идейно-эстетических исканиях автора — нашего современника. Особенности воплощения образа детства в малой прозе С. Хугаева рассмотрены под углом зрения семьи и среды. Принципы герменевтической интерпретации выявили доминирование нравственного аспекта в ее специфических проявлениях (жертвенность материнской любви, мальчишеская дружба как посильный для ребенка способ противостоять тяготам сиротской судьбы, роль социума в воспитании подрастающего поколения и прочее). Особый акцент при анализе темы военного детства сделан на таких ее составляющих, как «сиротство», «безотцовщина», «хлебный голод», «войной опаленная память»; в произведениях с мирной тематикой — на актуализации проблемы регулятивно-воспитательной функции этикета, ценностно-нормативных ориентиров осетинской ментальности. В заключительной части формулируются выводы, отражающие специфику освоения темы детства С. Хугаевым и национально-художественной традицией в целом.

Ключевые слова: литературная традиция, К. Хетагуров, малая проза С. Хугаева, мир детства, ребенок и взрослые, мать и дитя, художественная деталь, психологизм, метафорическая мотивация, тип повествования.

The article represents the first study of the image of childhood as an independent and esthetic issue in the stories by S. Z. Khugaev, which is one of the key constants of the writer's artistic world. A brief historical survey of the literary practice of Russian (the concept of childhood in the works by L. N. Tolstoy, S. T. Aksakov, N. G. Garin-Mikhailovsky, F. M. Dostoevsky, in the culture of the Silver Age, in the «thaw» period) and Ossetian writers allowed to identify the link between the actualization of the problem and the stages of dominance of the ideas of the life renewal in the society. Literary parallels with the story «Today I finished my night classes...» by K. Khetagurov were drawn at the level of ideological and imaginative perspective; verbal, narrative and conceptual structures of the works allowed to outline the continuity in ideological and aesthetic quest of the author, who is our contemporary. The features of childhood image typified in S. Khugaev's small prose were considered from the perspective of family and environment. The principles of hermeneutical interpretation revealed the dominance of the moral dimension in its specific manifestations (mother's sacrificial love of a, boys' friendship as a feasible way for a child to resist the hardships of orphan's fate, role of the society in the upbringing of the younger generation, etc.). Particular emphasis in the analysis of the theme of wartime childhood is made on its components such as «orphanhood», «fatherlessness», «bread shortage», «memory scorched by war»; in the works with the peacetime theme — on actualization of the problem of regulatory-educational function of etiquette, value-regulatory milestones of the Ossetian mentality. The final part represents the conclusions reflecting the specifics of the development of the childhood theme by S. Khugaev, and national literary tradition as a whole.

Keywords: literary tradition, K. Khetagurov, Khugaev's small prose, world of childhood, child and adult, mother and child, expressive detail, psychology, metaphorical motivation, type of narration.

Тема детства в мировой художественной практике — одна из наиболее востребованных, различные ее аспекты — мать и дитя, ребенок и окружающая среда, природа и мир детства, память детства — отмечены единым нравственным содержанием, имеют универсально-константное значение. Но каждая эпоха и каждый геногео-

графический ареал привносят в интерпретацию темы свой психологический опыт и конкретно-исторический смысл. В русской литературе XIX в. наиболее значительными произведениями, в которых обрисован образ детства, признаны автобиографические повести Л. Н. Толстого («Детство», 1852), С. Т. Аксакова («Детские годы Багрова-вну-

ка», 1858), Н. Г. Гарина-Михайловского («Детство Темы», 1892) и др.

Новые горизонты в осмыслении означенной проблематики определились в связи с мотивом «слезинки ребенка» и духовного пробуждения взрослого, введенного Ф. М. Достоевским в «Братьях Карамазовых» (1880). Анализируемое явление трактуется русской классикой как феномен нравственного ориентира, как критерий, обуславливающий смысл бытия человека, его надежду на божественное искупление [1; 2]. На переломе XIX–XX вв. собственную концепцию детства выработала художественная культура Серебряного века. Символисты в образе ребенка отобразили понимание мировоззренческих проблем своего времени. Детская тема соотносилась ими с решением бытийных вопросов, с идеей пересоздания личности и миропорядка, и это, по сути, манифестировало состояние творческого диалога с предшественниками [3].

Мощный «всплеск» темы детства в России приходится на «оттепельные годы». Исследователям его истоки видятся в том, что в советскую эпоху примат коллективной памяти формировал взгляд на детство как на достояние государства¹. Критика тоталитарной идеологии, прозвучавшая на историческом XX съезде (1956), направила развитие темы в прежнее естественное русло, вновь введя ее в привычный круг понятий «семья», «народ», «природа» [5, 13]. Сказанное делает бесспорной связь актуализации изучаемой проблемы с этапами доминирования в обществе идей обновления жизни.

Эта закономерность хорошо определяется и в осетинской прозе. Освоение мира детства и детских образов в ней берет свое начало с незавершенного рассказа К. Л. Хетагурова «Сегодня я окончил свои вечерние занятия...»², обладающего отчетливо выраженной культурно-просветительской направленностью [7, 384]. В указанном тексте, как представляется, опыт русской автобиографической прозы о детстве синтезирован с начатками эмотивного дискурса, присущими стратегии автопрезентаций

предшественников художника, осетинских просветителей Ивана Ялгузидзе [8, 106–107] и Инала Канукова. В этой мысли укрепляет нас и суждение исследователя И. С. Хугаева относительно автобиографизма произведения, в котором, как он полагает, «...в пространстве одного хронотопа встречаются Коста-пятилетний горец и Коста-студент Петербургской академии художеств» [7, 382]. Дальнейшее развитие концепции детства в творчестве осетинских мастеров слова позиционирует этот рассказ как бесспорного посредника в восприятии ими этико-эстетических завоеваний русской классики.

В данной статье мы ставим целью рассмотреть в контексте означенного посредничества образ детства в малой прозе С. З. Хугаева, под углом зрения семьи и среды — важнейших аспектов изучаемой темы. Сергей Заурбекович Хугаев — народный писатель Осетии (2013), художник со сложившимся мировоззрением и неповторимыми особенностями письма, мастер короткого рассказа, демонстрирующий блестящее сочетание психологизма с элементами юмора, иронии и лиризма. Между тем до сих пор нет серьезных проблемных исследований по литературному наследию автора. Наш собственный вклад в этом направлении представлен двумя публикациями, в которых нашли отражение жанрово-стилевые особенности творчества автора [9; 10]. К числу обстоятельств, актуализирующих заявленную в статье проблему, относится также неосвоенность осетинской наукой о литературе художественного пространства детства в целом.

Отечественная филология, осмысляя преемственную связь темы детства у К. Л. Хетагурова с произведениями русской словесности, чаще всего отмечает очевидное влияние на него творческих обретений А. П. Чехова, в особенности его рассказа «Ванька Жуков», и закономерно выводит черты сходства по линии эпистолярного дискурса. Не обойден вниманием исследователей еще один связующий момент — мотив пути, весьма актуальный в автобиографическом нарративе русской классики

[7, 383; 11, 192]. Действительно, в жизни пятилетнего «черкеса» Бибо, подобно юным персонажам Л. Н. Толстого, С. Т. Аксакова и др., значимым событием является путешествие как способ раздвижения границ мировидения. Коста Хетагуров описывает дорожные впечатления «маленького дикаря» (так ласково характеризует он своего героя, представляя его петербургским сверстникам — потенциальным читателям рассказа), впервые покинувшего отчий дом, чтобы «взглянуть на Петербург». (Как можно заключить из текста, мальчик на самом деле привезен в северную столицу с целью показать его врачам.) В поездке происходит обогащение кругозора Бибо, при этом познавательный процесс вбирает в себя и негативные впечатления (случай с безбилетным пассажиром, «извлеченным» из-под скамьи; эгоистическая реакция кондукторов и толпы и гуманная — Коста и т.п.).

Свой поучительный опыт приобретают по дороге жизни и малолетние персонажи С. Хугаева. В отличие от героя рассказа «Сегодня я окончил свои вечерние занятия...» они не выходят за пределы узкого пространства национального мира (своего аула), но отголоски катаклизмов в «большом свете» самым непосредственным образом отражаются на их судьбах. Здесь в первую очередь следует выделить важнейшую грань темы — детство, искаженное войной. «Дети и война... Нет более ужасного сближения противоположных вещей на свете», — писал Александр Твардовский. Война и связанные с ней беды (сиротство, голод, неадекватные возрасту физические нагрузки; инциденты, порожденные случаями разбоя, дезертирства и пр.) составляют событийную канву многих рассказов осетинского автора.

Нравственный аспект темы детства в литературе прошлых столетий и в наши дни неизменно предполагает сосредоточенность на художественном исследовании связи ребенка с окружающей средой, в первую очередь, на проблеме семьи и дома. Для нас важно подчеркнуть тот факт, что, в отличие, скажем, от того же Ваньки Жукова,

контакты маленького Бибо с ближайшим окружением формируют у него позитивное отношение к жизни, поскольку базируются на доброте, любви и сердечном участии в его судьбе взрослых. Вспомним, как трогательно заботится о нем в дороге дядя-студент, как старается отвлечь от грустных мыслей, от тоски по матери, как не на шутку взволнован царапиной на виске ребенка, полученной им в дорожно-транспортном происшествии.

Теплом семейного очага не обделены и юные герои Хугаева. Несмотря на сиротскую долю, голод и лишения, они растут в атмосфере коллективной опеки взрослого населения. Подобно автобиографическому персонажу Коста, деятельно добра тетя Марго («Запах теплого хлеба»). Чтобы хоть как-то облегчить вдовью долю сестры, она берет на себя заботу о старшем из ее осиротевших в войну шестерых детей. Марго, с подлинно воинственной решимостью вступающая на защиту доброго имени племянника, пожилая супружеская чета со скромными гостинцами (куриным яйцом, так и называемым в народе: *рагвдауан* — «для утешения», и двумя конфетками-подушечками) для больного ребенка, целительница Дзиццен, идущая на невинную уловку, дабы унять страх «пациента» — несмышлениша («Лекарство для глаза»), пахарь-инвалид войны, скормивший свой нехитрый обед мальчишке-сироте («Ломоть чурека»), председатель колхоза, пребывающий в сильном смущении оттого, что вынужден дать подростку ношу не по плечу («Студенный родник») — действия этих и других персонажей квалифицируются автором как естественные и искренние проявления «формулы народного гуманизма», как отражение сути национального образа жизни. Примечательно, что даже персоны, не вызывающие симпатии, и те «не смеют» выходить за рамки коллективистских норм. Показательна в этом плане сцена дележа скупаватой Фари чурека между Габа («своим») и соседскими детьми («В горном ауле»). Разумеется, речь не идет об идеализированной модели взаимоотношений «взрослые — дети», и тому свидетельство, например,

— инцидент с травмированием психики Гадзыба необоснованными подозрениями в краже («Запах теплого хлеба»). Авторская точка зрения на учиненное помощником пекаря «дознание» смыкается в рассказе с негативной реакцией персонажей — носителей и проводников исконных нравственных ценностей (Марго, Мате, Игната). Обращает на себя внимание наличие в этом рассказе контекстуальной синонимической пары: «физический изъян — моральное уродство», для литературного творчества нехарактерной, но достаточно определенно отложившейся в народном сознании. Можно не брать во внимание великанов-циклопов, карликов и прочих иносуществ, находящихся за гранью человеческой нормы. Но и в оценке некоторых антропологических персонажей (укажем хотя бы на образ Коса/Безбородого в осетинской сказке) достаточно ясно постулируется понятие того, что обладатель ущербной внешности ущербен и нравственно [12, 258]. В этом отношении слова Марго, сказанные в сердцах: «Правы были древние, кривой и хромой мыслят одинаково» [13, 32], призваны подчеркнуть антигуманность жизненной позиции Маха, его «слепоту» и равнодушие к чужой беде. В нелестной характеристике персонажа заметная роль отводится его собственному дискурсу с доминированием властно-диктатных конструкций, обилием фразеологизмов с отрицательной семантикой, сообщающих лексике Маха особую колоритность и выразительность.

В хронотопе войны и послевоенных реалий понятия «детство» и «сиротство», «безотцовщина» взаимосвязаны. Не удивительно, что важной фигурой в жизни малолетних героев писателя (в силу скрытой автобиографичности текста — всегда мальчиков) является дедушка («Грибы», «Озерное ущелье»). Но доминантной в художественном мире Хугаева предстает образ матери-труженицы, раскрываются различные нюансы мотива «мать и дитя». Совмещая тяжелую мужскую работу с домашними хлопотами, она лишена возможности уделять внимание ребенку в той степени, в какой он в этом нуждается. Тоска по

материнской ласке в «Лекарстве для глаза» прорывается наружу обидой, истеричным плачем «назло». «В горном ауле» в житейски-социальном и сакрально-бытийном планах демонстрируется навечная «пуповинная» связь матери и ребенка; в «Ломте чурека» акварельно тонко прорисовано благотворное воздействие на детскую душу силы материнской любви. Не ошибемся, если скажем, что различные грани образа матери в анализируемых рассказах имеют источником творческое обращение к мировой классической, в том числе хетагуровской, традиции трактовки материнства как «безусловно великого, абсолютного начала в человеческой жизни, необходимого ее идеала» [3, 28].

Существенный аспект изображения детства у Хугаева — *сфера общения сверстников*. Мальчишеская дружба показана как естественная потребность детской души, как посильный для ребенка способ противостоять злу, тяготам сиротской судьбы. В обездоленной войной жизни Гадзыба островком добра и теплоты становятся его отношения с Миланка, от чьего имени ведется повествование («Запах теплого хлеба»). В редкие дни, когда мать пекла сахараджин со свекольной ботвой и сыром, Сараби, зная, что это любимый пирог Итала, всегда припрятывал для него кусок от своей порции («В горном ауле»). Показательно, что дети в рассказах Хугаева редко изображены поглощенными игрой — таковы суровые реалии войны и горского быта. И все же, несмотря на внешние обстоятельства, они живут в своем мире ярких ощущений и впечатлений. С разноликотой ватагой аульных мальчишек знакомимся в экспозиции рассказа «В горном ауле». Автор рельефными и точными мазками прорисовывает отдельные штрихи портрета, жесты, речевые особенности, позволяющие отобразить индивидуальность каждого из детей, сферу общих интересов и различные стили поведения. Эгоцентризм детского сознания проявляется в образе Гоги. Психологически верно угаданы и воспроизведены оживленная говорливость и ухищрения персонажа, направленные на то, чтобы

выманить, по обыкновению, кусок чурека у простоватого Габа, мальчика из более обеспеченной семьи, а затем — чтобы отвлечь внимание товарищей от своей поживы.

Наивная «стратегическая» хитрость Гоги живо приводит на ум проделки Бибо — героя рассказа К. Хетагурова. Из письма мальчика к матери определяется характер его контактов с ровесником Нико: это дружба-соперничество; оно проступает в подчеркивании адресантом своего превосходства при любом удобном случае («...я гораздо выше, не говоря о том, что много дальше бросаю камень...»), в мотивации досадного проигрыша, случившегося якобы из-за того, что Бибо в тот день «мало выпил молока», но после того как осушил полную чашку до дна, «сразу положил на землю своего противника» [6, 308]. Надо заметить, что мир детских забав и озорства в автонарративе Бибо, несмотря на позитивный стиль самоподачи, высвечивает заметные «проколы» в поведении персонажа. Тут и «грех подставы» девочки Марики (при воровстве им яблок из сада) и «любимой киськи» (съеденные украдкой пирожки и разбитая миска), и элемент «лихого разбоя» («я на поминках вырвал у одного мальчишки его порцию мяса и, пока он меня догонял, я успел даже облизать пальцы и спрятаться за Голо...»), когда наносится «вред» уже родной матери («...скверный мальчишка, чтобы чем-нибудь удовлетворить себя, очень усердно ругал почему-то тебя, дорогая мама, а не меня, виновника его разорения» [6, 311]).

Перекличка с Коста заметна и в имитационном поведении хугаевских персонажей. Смешно звучат в устах Бибо слова матери («*Куйдз дыл амалад...*»), которыми он в сердцах обругал лес, тянущийся нескончаемой полосой за окнами вагона. Как бы вторя ему, юный герой из «Ломтя чурека» не устает повторять замысловатую формулу проклятья старого Бето («*Уал да баззай-аед, цы хур да!*»). В текстах обоих авторов удивительно тонко показано мотивированное отношение к ценностям у ребенка, на уровне подсознания ориентирующегося не только на сентенции взрослых, но и на

их характерные качества, на нравственные установки и идеалы национального социума. В качестве примера сошлемся на оправдания Бибо в своей несдержанности в тот момент, когда проверяющие вытянули за ноги «зайца» из его укрытия при всеобщем хохоте пассажиров («Но как было не смеяться, когда с бородой мужчина начал рыдать перед кондукторами...» [7, 313]). Позже, узнав от дяди грустную историю безбилетника, мальчишка — полагаем, с дядиных же слов — назовет его «несчастливым». В отличие от несмышлениша Бибо, рассказчика из «Пастуха телят» вид взрослого, скорчившегося на камне, будто ребенок, повергает в шок («волосы встали дыбом — чтобы мужчина плакал, такого мне не приходилось видеть» [4, 143]).

Существенная для темы детства *проблема нравственного воспитания* соотносена у С.З. Хугаева с принципами народной педагогики, суть которой составляет обучение личным примером. Действие подобных механизмов влияния на подрастающее поколение наблюдаем в рассказе «Грибы» — при отрицании дедом субъекта речи поступков, недостойных имени и обычая человека («...она-то белка, никто ее не осудит, а мы — люди...»). В «Озерном ущелье» юный нарратор становится свидетелем воздействия на соседа-великана Гисо строгой регулятивной функции этикета: боясь общественного осуждения, мужчина, вопреки собственной воле, вынужден забыть о рычагах наказания и терпеть «сумасбродства» жены («...*уада ма адамы худинагаей ма таерсин, каэддара, уймаен цы хъауы, уый нае базонид а лэпту!*» [4, 69]). Феномен «общественного зеркала» (Ч. Кули) срabатывает и в момент встречи мальчика с дедушкой, который на промыслах, вдали от людского глаза, «совсем на себя не похож» («Борода была всклокочена, длинная рубашка — не подпоясана»). Воспитательное воздействие этикета на ребенка показано также в сцене, где обычай гостеприимства сводит на нет разгоревшийся было конфликт между промысловиками и охотниками. В силу возраста внуку трудно при посторонних сдержать свое любопытство, но все же

он не настолько мал, чтобы не знать что такое поведенческая норма, а потому свой вопрос он шепчет дедушке на ухо.

Традиционная культура воспитания в этом и в других рассказах Хугаева проявляется в морально-этикетной парадигме «старший — младший», предусматривающей систему особых отношений. Одним из ее элементов являются обстоятельные и исчерпывающие разъяснения, расширяющие нравственный кругозор и познавательную активность детей. Показательны в этом плане взаимоотношения деда и внука в рассказах «Грибы» и «В Озерном ущелье»; по проблематике и мотивной структуре эти произведения автора воспринимаются как звенья одного цикла.

Другого типа параллель напрашивается между рассказами «В Озерном ущелье», где в финале косолапый сосед промысловиков окончательно «очеловечен» (эпизод с возвращенной шубой), и «Студеным родником», в котором показан процесс духовного и физического одичания человека. Дезертировавший с фронта Киаз жалок, когда выманивает у голодного пастушка его скудный обед, жалки его притворство и примитивная ложь, рассчитанные на мальчика-полуподроска. Состояние деградации, может быть, несколько утрированное, художественно ярко обрисовано через портрет «лесного человека», а также через посредство его действий и эмоциональных реакций (пищу глотает, не жуя; лижет соль, украденную у пастухов; от голодного нетерпения рыдает навзрыд при заклинании теленка). Атрофию мыслительных механизмов выдает в нем косноязычие — думать и говорить связно Киазу лень. Кульминацией утраты им человеческого облика становится эпизод «соперничества» с волчонком за обладание телячьей требухой.

Гуманизм писателя — во внутренней нюансировке отрицания персонажа. Откровенно враждебно настроен к дезертиру Годжиа — председатель ревизионной комиссии, во время облавы едва не пострадавший от его пули. Нечто, похожее на жалость, мелькает в душе Казанте: мол, только потянулся бедняга за куском

мяса, думал насытиться, а тут нате — мы. Доверчивость, с которой дети постигают мир, мастерски отражена в реакции Елиза, испытывающего одновременно испуг и сострадание. Воспитанный на нормативно-ценностных установках горского этикета мальчишка, несмотря на смутные сомнения, готов услужить старшему, — в итоге цинично обманут им.

Как видим, этноэтикет, национальные традиции, внешне не акцентированные автором, — едва ли не ключевые составляющие его концепции детства. Маленького «дикаря» Коста удивляла «привычка» дяди расплачиваться с носильщиками деньгами, само обыкновение помогать за деньги, а вид плачущего мужчины с бородой и вовсе поверг в недоумение. Точно также за пределами понимания хугаевских персонажей остается все, что расходится с менталитетом осетина, будь то оговор в краже хлеба — святотатства в народном понимании, или имитация траура по близкому человеку, либо что-то еще в этом роде. Описывая мир ребенка изнутри, писатель показывает, как в детском сознании нарушение этических норм жизнедеятельности народа вызывает активный протест и отторжение («Запах теплого хлеба»); в других случаях кощунственная ложь может ввести ребенка в заблуждение («Студеный родник») и иметь негативные последствия. Но чаще всего наблюдаемый у взрослого нравственный коллапс выполняет функцию выработки юным героем ориентиров достойного поведения.

Особый акцент в теме детства у Хугаева приходится на предметно-бытовые детали. В лучших традициях осетинской классики вещный мир у него концептуально значим. Но бытовые частности, которые придают рассказу К. Хетагурова «Сегодня я окончил свои вечерние занятия...» «определенное социально-проблемное звучание» [7, 381; 11, 193], у его литературного последователя обладают еще и выраженной символической подоплекой. Так, образ хлебного голода в «Ломте чурека», воспроизводимый через посредство подробной детализации действий «я» — персонажа (утром, как

обычно, поддев плечом крышку корыта для теста, юный герой рассказа достает оттуда миску с молоком, дует на пенку и... водворяет на место: «молоко опостылело»), имеет завершением внезапное — «до душевной дрожи» — осознание жертвенности материнской любви: в оставленном для него ломте чурека мальчик узнает кусок, которым накануне поделился с матерью [14, 19]. Повествовательную перспективу здесь образует россыпь художественных деталей: устремленные ввысь ручки-«крылья» плуга, уходящая вдаль, в большой мир дорога; топорик, на острие которого играют блики солнца. Эти и другие микрообразы рассказа воспринимаются как предметные метафоры, в духе установлений соцреализма отражающие авторскую интенцию о ясном будущем для юного героя и его земляков.

Деталь как структурно-смысловая единица играет существенную роль и в рассказе «Пастух телят». Многоуровневая метафорическая мотивация присутствует в описании лучей заходящего солнца как олицетворения сменяемости удачи; в образе песни-души, бьющейся крылами о небесный свод (объективности ради, отметим избыточную, а вернее, плохо структурированную смысловую многослойность данной метафоры); в человеческой тени, вытянувшейся на невероятно большое расстояние — аж до самой мельницы! Бузыр — некогда первый среди помочан и запевал аула, отчаянный наездник и объездчик жеребцов — и есть ныне человек-тень: только так он и может дотянуться теперь до своей мечты. Вздрагивающий обрубок руки персонажа — безжалостный автограф, оставленный войной — превращается в скрытую метафору обрубленной жизни с еще пульсирующим в агонии сердцем. Весь спектр деталей-символов, деталей-метафор и аллегорий в этом рассказе, по существу, манифестирует обрыв витальной энергии, усугубленный трагедией любви. Лаконичен и одновременно философски объемён финальный диалог мальчика-нарратора с Дуной, указующий на наличие в данной истории второй страдающей стороны. Дуна — возлюбленная Бузыра, недавно вышед-

шая замуж за «тугоухого Адама». Это она застыла у входа в мельницу, слушая песню однорукого пастуха телят. Добровольно ли девушка сделала выбор, этого мы не знаем. Но вот счастлива ли она?

«— Что ты стоишь, Дуна? Тяжело идти?

— Идти-то мне не тяжело, мой маленький братишка, жить тяжело, — по-прежнему глядя куда-то вдаль, ответила Дуна» [4, 146].

Сцепление деталей-символов и деталей-метафор присутствует также в схеме связи «Тадюз — Саби» («В горном ауле»). Поступок Тадиоза трактуется нами в аспекте проблемы искупительной жертвы [10, 1086], а образ Саби-сына — как воплощение чаяний автора, а через него — общественного сознания в целом, возлагаемых на дитя с точки зрения идеи «восстановления человека» (по Л.Н. Толстому). Как метафора смерти, рокового предсказания судьбы опознается изменившаяся походка конвоира Тадиоза, сравнение ее с кошачьей поступью: «Теперь он ступал твердо, уверенно, и было в его шаге что-то еще. Казалось, на кончиках пальцев ног у него, как у кошки, есть втягивающиеся когти, и, если бы, допустим, дорога впереди внезапно дала крутой крен, он бы удержался на ногах, не соскользнул бы вниз» [14, 42]. Можно вспомнить также периферийные подробности, связанные с убийством отца Дзицен («Лекарство для глаза»), в чьей судьбе метафора «погасшего очага» приобрела конкретное зловещее содержание. Лишь в редких случаях поэтика частных (Гадзбе, в упор рассматривающий в бинокль спящего пришельца; Фари, подвигающая товарок к расправе над Залдой, якобы преступившей законы морали) придает изображению оттенок шаржированности; в целом же, вещественно-зримые детали в произведениях автора, не утрачивая материальной плотности изображения, с одной стороны, содействуют метафоризации повествования, с другой — вносят в него лирическую струю.

Микродетали повествования, в разных рассказах Хугаева привязанные к разным героям, объединяет некое сход-

ство, дающее повод предположить (памятуя о принадлежности самого автора к поколению детей войны), что все рассказанные истории, по большому счету, есть фрагменты биографии одного и того же персонажа, наделенного автобиографическими чертами. Вместе с тем это, безусловно, — собирательный «портрет» детства, источником воспроизведения которого были воспоминания о пережитом в годы войны. Отсюда еще один важный аспект проблемы — *соотнесенность категории детства с темой памяти*. Мы уже писали о том, что ключевыми позициями концепта «память» обусловлена нарративная структура большинства рассказов Хугаева [10]. Добавим к этому, что обращение автора к эстетическому опыту К. Хетагурова очевидно и в сфере субъектной организации повествования. В рассказе «Сегодня я окончил свои вечерние занятия...» наличие две повествовательные точки зрения: субъекта повествования № 1, дяди «маленького черкеса», и № 2 — самого пятилетнего Бибо, детально воспроизводящего в письме увиденное во время путешествия. Такая архитектура способствует максимально полному раскрытию образа мальчика (*взгляд со стороны* — характеристика, данная дядей-студентом; *взгляд изнутри* — на основе анализа самопрезентации ребенка). В свете сказанного особый интерес представляет для нас вышеуказанная гипотеза И. С. Хугаева относительно двуединства нарративных инстанций (Коста-студент и его «автобиографический двойник» — племянник Бибо); отметим также апелляцию рассказчиков к разным типам реципиентов (Коста-студент обращается к петербургским сверстникам маленького «черкеса», адресатом эпистолярных усердий Бибо является его мать). Влияние отмеченной тенденции обнаруживается в ряде рассказов С. Хугаева в *двуипостасности нарратора* («я» взрослого и «я» ребенка в одном лице). Данный тип перволичного повествования позволяет, при сохранении фокуса зрения ребенка и передачи неповторимых нюансов восприятия мира детским сознанием,

«подсветить» особую психологическую атмосферу интенциями нарратора-взрослого. Подобная субъектная структура связывается исследователями с идеей «духовного равновесия»: путешествие в детство преследует цель «разобраться в себе тогдашнем, отыскать точки совмещения двух себя» [15, 81].

Наличие маркеров детской речи и *степень их выраженности* варьируется в анализируемых текстах в зависимости от ипостасного доминирования. Синтаксис речи малолетних персонажей С. Хугаева отличается простотой структуры предложений, эллиптическими конструкциями, повторами, частым употреблением союза *амае* (и), прочими средствами имитации детского языка, особую выразительность которому придают элементы невербального общения. Приведем одно из таких описаний: «Итал не отводил взгляда от чурека и, когда Габа подносил кусок ко рту, он тоже открывал рот. — Дай мне вот столько, — протянул он длинную худую руку и провел указательным пальцем по чуреку, словно хотел разрезать его» [13, 30]. Обильно сдобрена жестикуляцией речь Гоги: «...Я-то умею обхитрить Габа. Сказать вам, какой величины кусок пирога я у него вчера выманил? Вот такой, — Гоги перевернул ладони и сомкнул их...» [13, 33]. Изложенное позволяет говорить о преодолении Хугаевым, и в целом современной осетинской прозой, «стилистической условности», которая присутствует в автонарративе Бибо К. Хетагурова [7, 385].

Аналитический инструментарий герменевтического подхода к образу детства в рассказах Хугаева сделал очевидными следующие выводы:

— тема детства является сюжетообразующим стержнем, а образ ребенка — главным предметом воспроизведения в малой прозе автора;

— в творчестве писателя получили развитие основные направления, обозначенные литературной классикой прошлых веков в изучении феномена детства;

— авторская концепция детства, организующая структуру его рассказов, рас-

крывается через взаимодействие мира взрослых и детей;

— для сюжетов писателя, как и осетинской художественной ментальности в целом, не характерна оппозиция: дети — взрослые. В отличие от юных героев Толстого, Аксакова, Короленко, Чехова, Горького и др., а также русского символизма, остро ощущающих свое одиночество, «литературные дети» Хугаева, равно как и маленький «черкес» Хетагурова, окружены лаской и заботой, теплом домашнего очага;

— персонажи осетинских авторов живут и действуют в этноментальном пространстве, где воспитателем ребенка являются не только родители, бабушки и дедушки, а социум в целом. Формирова-

ние чувств и нравственных представлений героев С.З. Хугаева происходит в горной местности, в атмосфере единства людей, совместно преодолевающих разруху, голод, потери, понесенные в войну; в атмосфере родства с миром природы и миром вещей, показанной с убедительной психологической глубиной. В подобной обстановке легко усваиваются сами азы человеколюбия, отзывчивости к чужой беде, выковываются такие судьбоносные в жизни человека понятия, как мать, дом, хлеб, фанн предков, память и совесть. Являясь своего рода «субстанциональными опорами личности», духовно-нравственными ориентирами, они определяют многомерную нюансировку темы детей и детства в творчестве писателя.

Примечания

1. Контуры данной модели детства отчетливо проступили в рассказе «Студеный родник» С.З. Хугаева, в диалоге председателя колхоза и матери, требующей освободить сына-подростка от работы, которая несет угрозу его жизни:

— Ни-ни, ни за что его больше не отпускаю. А вдруг беда с ним приключится, разве его отец потом не спросит с меня за это?

— Иди, Сохион, домой и сиди там. Мой ребенок, говоришь? Он как твой, так и наш, государственный он ребенок! И мы плохого ему не желаем (здесь и далее подстрочный перевод наш. — И. М.) [4, 51].

2. Рассказ сохранился в двух вариантах: в беловом и более развернутом — черновом; в статье приводятся ссылки на обе версии [6, 203-213, 285-320].

1. Бегак Б. Классики в стране детства. М., 1983.

2. Пушкарева В.С. Дети и детство в творчестве Достоевского и русской литературы второй половины XIX века. Белгород, 1998.

3. Дворяшина Н.А. Феномен детства в творчестве русских символистов (Ф. Сологуб, З. Гиппиус, К. Бальмонт): Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. Сургут, 2009.

4. Хуыгаты С. Зарæг баззæди мæмæ: Уацау æмæ радзырдтæ. Орджоникидзе, 1983.

5. Зимин В.Я. Тема детства в творчестве К.Д. Воробьева: Дисс.... канд. филол. наук. Курск, 2004.

6. Хетагуров К. Собр. соч. в 5 т. М., 1960. Т. 2.

7. Хугаев И.С. Генезис и развитие русскоязычной осетинской литературы. Владикавказ, 2008.

8. Мамиева И.В. Авторское «я» в текстах северокавказских просветителей конца XVIII — начала XIX века // Вестник Дагестанского научного центра РАН. 2013. № 50. С. 103-109.

9. Мамиева И.В. Мир души художника: Писателю Сергею Хугаеву — 80 лет // Вестник Владикавказского научного центра РАН. 2013. № 4. С. 29-35.

10. Мамиева И. В. Поэтика малой прозы С. З. Хугаева: нарратив памяти // Фундаментальные исследования. 2014. № 6 (5). С. 1083-1087.
11. Салагаева З. М. От Нузальской надписи к роману: Проблемы генезиса и становления осетинской прозы. Орджоникидзе, 1984.
12. Мамиева И. В. Мифологическая семантика концептов «плешь» и «безбородость» в сказочной наррации: к проблеме национальных трансформаций // Вестник Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова. 2011. № 3. С. 255-261.
13. Хуыгаты С. Урс изæртæ. Дзæуджыхъæу, 2000.
14. Хуыгаты С. Хурвæндаг. Орджоникидзе, 1980.
15. Томашевский Ю. Б. Право на возвращение // Воробьев К. Вот пришел великан. М., 1987. С. 81-115.